

Сегодня Настя рано пришла — баб еще нет никого, одни мужики, разобрав упряжь, смолят на лавках курево. Надымлено столько — Настя почти на ощупь прошла к окошку. Села, подперев рукою щеку, стала смотреть в окошко, на конюшенный двор.

Немного рассвело. Просочился в окошко мутный дневной свет. Приоткрылась дверь конюшни, вышел Леонид, ее бывший муж. Настя проводила его долгим ревнивым взглядом, повернулась от окошка к двери — сейчас войдет. Никому бы не создалась Настя, почему первой из баб приходит в конюховку — Леонид, Леонид нужен ей. Надеется — хоть разок с глазу на глаз придется с ним побыть: может, и спросит о чем-нибудь... Нет, и сегодня нет. При мужиках подойдет ли он, станет ли разговор заводить? Прошел Леонид, не посмотрев в ее сторону, к себе за перегородку. Замерло сердце у Насти...

Мужики, разобрав хомуты и сиделки, потоптались у дверей и ушли к коням. Одна за одной в избушку набились бабы. Пришла Катька Маликова, теперешняя жена Леонида, уселась к свету напротив Насти, хлопает глазами. «Катька-жмурка», — со злостью подумала Настя и отодвинулась в угол. Свет ли, день ли белый на дворе, сумерки ли — все моргает, подслеповато щурится Катька, ничего не видит. Язык же устали не знает, мелет почище овцы. За язык один и в звеньевые вышла. Все бабы молчали, когда сватал бригадир, а она высунулась с языком. Теперь командует, еще больше норова стало.

Каждое Катькино слово — нож острый в сердце Настасье. Спасибо, сегодня бригадир райо подъехал, застучал кулаком в стену конюховки. С матюками застучал. Бабы, оправляя подолы, вышли во двор. На дворе сбились в кучу — сильный ветер больно сек лицо, крутя, раздувал по двору солому. Все посовали руки в рукава фуфаяк, попрятались друг за дружку. Бригадир обозвал баб воронами и, заведя мотоцикл, запрыгал на нем по кочкам, поехал в поле. Бабы, наклоняясь от ветра, двинулись за ним.

Льна на стлище было еще немало, а убрать надо сегодня. «Завтра снег обещали», — сказал бригадир.

— Снег-то снегом, — крикнула Марковна — большая старая баба, — а с отработкой-то должно что-нибудь...

— С отработкой, — коротко сказал бригадир, — как же... — Он завел мотоцикл и уехал.

Бабы принялись за работу. Настя крутила льняные пояски, бойко охватывала ими тронутую наледью тресту, один за другим оставляя за собой аккуратные снопики. Рядом шла Марковна. Дивилась Настя, глядя на нее, — здоровая бабища, не очень старая еще, и в семь одежек одета, а зябнет, ежится на ветру. Возьмет сноп, обернется спиной к ветру и стоит столбом, пока негнущимися пальцами не перевяжет снопик. «Из-за того и замуж никто не взял, — думала Настя, — а нет мужика и деток нет если, то и работать не научишься». Да вот у нее, Настасьи, шестой год, как мужика нет, ушел. Кто она теперь — не девка, не вдова, не мужняя жена. А ребятишки растут. И к кому ушел-то мужик — к Катьке. Сгори она огнем небесным!.. Живет в няньках в соседней деревне цыганка, ходила к ней Настя, отрез ситца носила, загадывала на Леонида. «Вернется любезный, жди», — сказала цыганка и карты показала. А что в них Настя понимает? И все же поверила, ждет...

Сходили пообедать, и опять пришли на снопики бабы. И только успели последнее подобрать — неожиданно-негаданно сыпануло снегом. Когда ветер утих, снег повалил большими хлопьями. Облепленные снегом бабы пошли в конюховку. У конюховки долго отряхивались. Бригадир уже успел съездить в магазин, привез водки. Бабы расселись по лавкам, затихнув смотрели на окошко, где отпотевали три зеленые бутылки. Когда бригадир обнес по первой, разговорились, развязали тугие платки. И опять больше всех молола языком Катька. Сходила с недопитым стаканом к Леониду, задержалась там. Настю так и заколотило от ревности.

Стали выпивать по второй. Кто из баб выпил, а кто и отдал свои стопки мужикам. Настя выпила. Сразу загло под сердцем, легко стало. А Катька опять пристаёт. Да вроде и Марковна начала-то — кто сколько огурцов нынче насолил.

— Вот у кого нынешний год огурцы не задались, — Катька пальцы начала загибать, — у Фроловны, у Паши Вяленого, у Насти Беляевой.

Вот какая Катька — нарочно про Настю сказала. /

— А что это не задались? — мирно сказала Настя. — Две кадушки насолила, в сенях стоят.

— А не задались, да и все, — поклонилась ей Кать-

ка, — никогда у тебя хорошо в огороде не родилось. Все сикось-накось. Видела — все лето морковь непополотая стояла.

— А что за непополотая?.. Вот у тебя лук так верно, что рано поблек. Неполиванный...

— А какой лук, а какой лук? — зачастила Катька.

Тут и сцепились они зуб за зуб. Только Настя слово успеет сказать, Катька — два. Гнилым тесом кроет, без ножа режет. Даже бригадир встал, выругал обеих. Да что ему — закурил и вышел.

— А одежи-то у тебя всего ведро, — строчит Катька, — пойдешь с одним ведром на речку... Ни наволочек, ничего...

— Бесстыжая... бесстыдница... — твердит Настя. Никогда она не ругалась, всем уступала, тут не стерпела. За мужика отбитого, за все высказалась. Пусть моргает.

Вышли бабы на улицу.

— Бесстыдница, — кричит Настя. Снег валит шибко, да не чувствует его Настя — так разошлась. Щеки огнем жжет.

— Жмурка ты курослепая, жмурка! — Видит, опешила Катька, не знает, что сказать, моргает...

А в Насте словно все опустилось. Пошла с Марковной, плакать — не плачется, все окаменело, спеклось внутри.

— Ты чего, Настась, фыркаешь? — спросила ее, поворачивая лицо, Марковна. — Наплюй-ка на ее, дуру... Ведь все знают, что дура она...

— Так как же жить-то, Анна Марковна? — сказала Настя и задрожала вся.

Домой пришла — ребятишек нет, хлопнулась на постель. Слезы ручьем. Долежалась до темноты. Тут вспомнила — стирки полно, встала через силу. Весь остаток вечера стирала, слушая погоду на дворе...

И весь вечер мело, шуршало по крыше...

А утром... Вышла Настя на крыльцо с корзинами белья и зажмурилась — до того чист, до того ярко показался этот снежок, упавший на голую землю. Везде снег, всюду бело, по всей деревне по колено бреди. И по пазам, по застрехам белками лепится снег. Летают сороки, сбивают снежные хлопья с огородов, с рябинок

на улице. Вроде несуетно летают, только затрещит иная — даже в березовом леске за банями звук раздается. Нет, это тишина такая со снегом, тишина раздаст звук, — вот она, Настя, будто немая стоит.

Чудно...

Со снегом тише, спокойнее на душе. О вчерашней ссоре и не вспоминать бы, только горло жжет. Да все равно хорошо! Настя положила руки на коромысло и сошла с крыльца. Шла по деревне на ручей и дивилась — до чего чист первый снег. Подумала о Леониде и поверилось — придет он к ней, придет. Не придет, так не для чего и жить...

Видна за оврагом река с темной тяжелой водой. И облака над ней идут такие же темные, свинцовые, видно, опять со снегом. Вспомнила, глядя на речку, прошлую осень. Плыл тогда по реке запоздавший плот, на ночь пристал возле деревни. Ходил по деревне сплавщик, высокий черный мужчина, менял часы «Победа» на фуфайку или что-нибудь теплое из одежды. Заглянул к Насте — тоже одинок — и остался на ночь. Утром было наладился остаться совсем, да бегала Настя к соседке советоваться, соседка сказала: «Он-то черен, как уголь из печи, а ты как та курочка-ряба... И взгляд у него тяжелый... Нет, не судьба...» С богом проводила Настя мужчину до реки. Стыдно от деток было — с чужим мужиком поспала, вон они, Васька-то с Ленкой, шептались потом.

Да ничего, когда вырастут, поймут, простят матери это...

Спустилась к ручью, разложила белье по колоде. Ручей за колодой не смогло завалить снегом — так и бежит, буравит серый песок... Позазевалась она тогда, забеременела от сплавщика. И хотелось бы родить, да Леонид?.. Придет ли он на чужого ребенка?..

Ключевая вода в колоде студена, жжет, но это только сначала — прополощешь две одежины, и обтерпятся, привыкнут руки... Да, вот уже тридцать восьмой год пошел ей. Тридцать восьмой, а кажется, недавно в девках ходила, под патефон на беседках плясала. Все теперь ушло, а куда — на семью ушло. Вон и думает она, как старуха, точно с той же Марковной ровесницы. А и ребята молодые, по шестнадцатому году, что табуном по деревне ходят, поглядывают на нее не так просто. Как-то осенью ходила к речке за калиной, долго два

парня озоровали возле нее, ломали светлые прутья, бросали ей в корзинку...

Точно — теперь руки обтерпелись, уж не сводит их, огнем пожигает. Прополоскала корзину и начала укладывать в нее белье, когда услышала фыркание лошади, скрип колес. Екнуло в груди у Насти, а разогнуться да посмотреть побоялась. Конечно, Леонид, Леонид ехал к колоде. Ведро, прицепленное к водовозной бочке, гремит на весь овраг. Она задержала дыхание, распрямилась.

— Ну!.. Разложилась, — поморщился Леонид, останавливая лошадь.

Настя метнулась к колоде, оставила корзины.

— Черпай, черпай...

— Черпай, — проворчал Леонид, — а кони пить будут после твоих остирок?

Он сел на край колоды и закурил.

— Ребятишки в школе?..

— В школе, — раздраженно, в тон Леониду, ответила Настя.

Леонид недовольно посмотрел на нее — и вся замерзла, сжалась Настя, тупо, немигающе уставилась на него. «Рубашка вон засалена, и сам не брит, не стрижен — не смотрит за ним Катька». Леонид снял шапку и долго сидел, ворочался на колоде, смотрел на елочки, покрытые снегом.

— А ты скажи Ваське, чтоб забежал после школы. Тапки я ему купил... На физкультуру...

«Тапки купил... Три рубля отвалил на сына... Добрый какой...»

— Крыша совсем худая, всю осень текла, — начала было Настя, но Леонид даже не захотел пристать к разговору.

А когда наполнил бочку и развернул лошадь, выложил — хуже нечего:

— Ваську я к себе думаю взять. Возьму.

— Как же, — у Насти задрожали ноздри, — шесть лет без тебя тянула, отдам я тебе.

— А отдашь. По закону у меня один ребенок должен быть, — сердито сказал Леонид и задержал вожжами.

И остался за ним черный-черный следок на снегу — прорезали колеса снег до самой земли. Не успел, видеть, Леонид бочку на сани переставить...

«Ишь, Ваську захотел. Катька, поди, смущает — дарового работника захотела», — почти ревела Настя, развешивая белье по чердаку. Чердак худой — там и тут снегу намело: и в карниз, и на боров печной. Затои теперь печь — все в избу и протечет. Настя уткнулась в печную трубу и вздохнула — не придет, нет, не придет Леонид. Взять бы бечевку бельевую да так и сунуться в нее. Нет... детки!.. Надо жить, если на свет пустила. Надо, надо!.. Она спустилась в избу, села у окошка, оглядывая двойные рамы. Вторые-то рамы она еще до заморозков вставила — всю осень избу выдувало. Прибрала окошечки на зиму. Между рам ваты наклала да серебряной бумаги из-под чайных пачек. А на бумагу рябины красной положила. Горит рябинка за окошками всю зиму — не морщится, не темнеет; весной выставит Настя рамы — Васька ее за милую душу уплетет. Гори, рябина, гори!.. Васька-то в деда пошел ростом, как липку тянет — все мало: и пиджак, и рубашки все. Третьего дня глушил с дядей Иваном рыбу по-за берегом и оставил один сапог подо льдом. В одной портянке домой приперся, хорошо, хоть ногу не проморозил — было бы маеты. Да нет теперь сапог-то, в чем хочешь, в том и ходи. Ходит в материных. То же вот и Ленка. В седьмой нынче пошла, а уж невестится. Пудру завела, духи. Платье шелковое справилá ей в прошлом году, нынче бросила — не модно, говорит. Подруги в чем придут, и ей то подавай, нервничает, чуть что — в плач. А учится хорошо — пятерки одни, редко четверки... Васька бы так!..

Настя сидела, смотрела за окошко, а вспомнила о Ваське, и слезы опять потекли по щекам.

Стало смеркаться, закатное солнышко лампадным огнем осветило простенок. Через минуту померкло.

Вернулся из школы Васька. Он забросил едва не под кровать сумку с учебниками и, тяжело, по-мужски топая, прошел в печь.

— Там щи, картошка, — сказала Настя, поднимаясь.

— Не хочу, — ответил Васька. — Дядя Иван озера пошел запирать. Где сумка после рыбы?

— Не обвались на льду-то, одна забота об вас!.. Отец звал, тапки, говорил, купил.

— Тапки! Пусть сам носит, — Васька хлопнул дверью.

«Помощник растет, отдам ли я его, — улыбнулась Настя... — Ленка из школы поздно придет, на репетиции».

Настя зажгла свет, пошла убирать скотину. Когда упрямилась, села опять на лавку — что делать?.. Утром совала в печь семечек, наверно, подсохли. Вытащила сковородку с ними, поставила перед собой. Перегорело семя, горечь одна, да все равно... Вся жизнь горькая, дак... Часа два высидела у сковороды, неподвижно в простенок проглядела, шелуху в сторону складывая. Думала все, думала и додумалась же!.. Нашарила у Васьки в сумке ручки, достала бумаги. Села писать. Листок медленно буквами покрывался — совсем разучилась ручку держать. Листа не хватило, вырвала второй:

«Председателю сельсовета Овчинникову Андрею Трофимовичу от гражданки Беляевой. Товарищ председатель, пишу вам про положение, в котором живу, и прошу от вас помощи. Мужик меня бросил, ушел к другой, а детки его при мне. И кормить, и поить их мне одной надо. А тяжело. Прошу вас, председатель дорогой, Андрей Трофимович, вернуть мне мужа, Леонида Беляева, конюха. А не сумеете вернуть, так чего мне тогда делать — скажите-посоветуйте, председатель дорогой.

К сему с поклоном Беляева».

«Вот, — подумала Настя, — вот, стыдно ему будет, как на людях-то читать начнут, стыдно». Настя зачем-то посплюнявила листы, сунула их под клеенку. С легким сердцем разобрала постель, легла подремать. И, засыпая, поняла, как разболелась у нее голова от писанины...

Утром и вставать бы, а неможется. После стирки заболели руки — ломота-страшная пальцы сводит. Стукнула ими Настя раз-другой о спинку кровати — вроде отошло. Встала и, пошатываясь, как пьяная, прошла в упечь. Что-то кружилась голова, откуда нездоровье? Вытащила из-под клеенки вчерашнюю писанину и перечитала. Нет, бесполезно. Какая она, Настя, глупая: чего захотела — через сельсовет мужика вернуть. Нет, не годится. Она скомкала листок и сунула в печное чело на растопку. А после этого слабость разошлась по всему телу, сильнее закружилась голова.

На улице метет, и стекла подрагивают, провода гудят. Настя глянула в окошко: «Матушки! Зимушка настоящая!» У крыльца целый сугроб надуло, поземка вьет, словно птица белая крыльями машет...

Хвора́я Настя, совсем хвора́я — голову то горячим обдаёт, то захо́лонет. И кружится, все кружится в глазах. И Леонид — одно мерещится в этом круженье. Кто-то стукнул в сени: «Он!» Обрадовалась, поспешно бросилась в сени. Стучал бригадир, выгонял на работу — льнотресту сушить на льнопункте. Настя, даже спорить с ним не стала — не отперла.

В избе растолкала Ваську, Ленку.

— Ой, детушки, ой, кровинушки, захворала я, везите, на санях везите в больницу. — Настя натягивала жакетку и причитала. Когда Васька с Ленкой оделись, прошла в сени и вытащила из-под какого-то вороха старые санки. С крыльца упала на них, прямо на головки: «Ой, детушки, ой, везите скорее». Васька напругся и потащил санки.

Поземка, крутясь, била в лицо Насте колкими пригоршнями, и Настя, чтобы не задохнуться, без конца кричала.

Кричала, а в голове стояло: «Мимо Леонидова дома, мимо так-то проехать».

Васька один тащил санки. Ленка бежала сбоку по сугробу, хныча, дула на варежки. У Леонидова дома Настя скинула ноги на снег и закатилась: «На кого, на кого, погляди-ко, ирод, ты сирот-то оставил, ой, погляди-ка, и-и-ирод...»

Голосила Настя, ногами буровила снег, руками царапала лицо и одежду. Платок за ухо сбился. Однако цепко, зорко следила за окнами Леонидова пятистенка. Услышит, услышит... Выйдет, вернется к деткам родным... Вон они стоят, как сироты, — любуйся. И вдруг вспомнила Настя — да ведь на конюшне он в это время. И сразу будто немость нашла на нее, затихла... Легла на головки санок, руки в снег — нет больше сил.

— А-а-а, — закричал Васька, — мамка умира-а! Ленка, беги за Марковной. — Васька бросился к матери.

— Отойду, Васенька, погоди, отойду, — прошептала Настя и закрыла глаза.

Закрываясь от ветра, большая, неуклюжая, спешила от своего дома Марковна.

— Что, Настась? — спросила она и заглянула Насте в лицо. — Ну-ка, не дурачься!.. Поедем-ка ко мне. Ребятишки, везите-ка!

И сама, проваливаясь в снег, пошла за санками.

У крыльца Настя встала, хватаясь за перила, прошла в избу. В избе у Марковны было чадно, похлопывал конфоркой самовар.

— Чадно, — сказала Настя, развязывая платок, — открой трубу, Анна, угореем.

— Открою, девка, открою, — Марковна поставила самовар на стол. — А ты попей-ко чайку, так и пройдет. Ребятишки, пейте чай.

Васька и Ленка толкали друг друга от порога. Марковна подошла к ним и сунула по куску творожного пирога.

Настя, расстегнув жакетку, взяла чашку с чаем.

— Так-то, девка, — улыбнулась Марковна и сама стала пить чай, — наплевай-ко ты на него, бесова сына. Пусть подавится своей Катькой, ежели любя ему так... На том свете, погоди-ко, за грех-то ему... Вот царица-мать небесная, — Марковна посмотрела на иконы. — Наплевай, говорю.

— Так как же, тетка Анна, одной-то жить, как же?

— Одной, — Марковна возвела глаза, — я вот одна, весь век одна, так думаешь легко... Да на твоём-то месте ровно как бы не жить?.. Вон они какие!.. Ну-ка, подойдите-ка сюда, Васьк, Ленк, — Марковна встала и подвела их к столу. Васька, бычась, посмотрел на Марковну и мотнул плечом, сбрасывая ее руку.

— А ты, Васенька, не сердись. На меня, на мать не сердись. Что батьки нет... Вот поешь-ка, — Марковна подсовывала тарелку с пирогом. Васька сопел и не сиделся. Ленка, глядя на него, стояла тоже.

— Ишь, какой! — Марковна растерянно махала в воздухе руками. — Женихом скоро станет.

— Да, — улыбнулась Настя и щекой прижалась к сыну, — учился бы только получше... Как эта...

— Будет, будет, — Марковна передником утирала глаза, так что, бабонька, живи...

Настя перевернула выпитую чашку.

— Пей, пей еще.

— Спасибо, Анна Марковна, домой надо.

— Иди, иди с богом.

Втроем они вышли на крыльцо.

Мела по улице поземка, белое крошево сеялось над крыльцом. Увязая в снегу, Настя пошла за детьми. По огородам между домов, треща, перелетали сороки, прятались от ветра.

Замело снегом деревенскую улицу, копились, быстро росли у заборов белые сугробы. Казалось, не будет конца этому — завалит снегом всю деревеньку.

Мело в этот час, по всей, казалось, земле мело. А прямо над головою летел через метельную непогоду светлый, точно отполированный, диск солнца, летел, ровным и чистым светом заливая окрестности.